ОЛЖЕС ТАТАРИН

серия романов «КСАНТИЯ»

пятьдесят приборов «Отдыхай»



КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ

АНАТОМИЯ УЮТА

мистический детектив · 18+

Олжес Татарин

Анатомия уюта.

«Автор»
2026

Татарин О.

Анатомия уюта. / О. Татарин — «Автор», 2026

Синдикат пришёл с чем-то мягким. На пороге конторы удобств — коробка без накладной, без клейма, без описи. Тёплая. В ней пятьдесят приборов — ровно по числу держателей города по списку, — и на каждом ручная вышивка: «Отдыхай». Синдикат дарит городу, который год держал себя сам, сную опись сна: «Не контроль — сводка».Город, которому год не спал, соглашается почти весь. Но тринадцатилетний Илья отказывается прибору в лицо: «Меня не считать. Я — счёт». И замечает то, что царапает: ткань греет не как вещь из тёплого места — как тот, кто ждёт. Начинается вычистка по штриху, сеть чистых листов растёт с девяти до сорока одного, а срок приходит так, как приходят не гости: ведомость.Слоган: «Сон — это тоже счёт. Спроси, кто его ведёт».

© Татарин О., 2026
© Автор, 2026

Олжес Татарин
Анатомия уюта.

У города, который отстоял своё имя, обнаружилась самая страшная уязвимость из возможных.Он стал удобным.Это нельзя было назвать испорченностью — город не испортился. Это нельзя было назвать небрежностью — город не был небрежен. Это было качество, которое приходит к побеждавшим: расслабление держащей руки. Год назад рука, держащая город, была напряжена до костяшек — и потому её нельзя было вырвать. Год спустя рука держала привычно, полусогнуто, как держат чашку, — и в полусогнутую руку что-нибудь кладут.Синдикат пришёл с чем-то мягким.Это случилось в октябре — через год и месяц после того, как лёд ушёл целиком и город ответил на зов. Синдикат не пришёл с бланком, не пришёл с реестром, не пришёл с тарифом. Синдикат пришёл с подарком.Подношение лежало на пороге конторы удобств утром в понедельник — Бель нашла его первой, открывая, — и оно было устроено так, как не устраивают посылки: не запаковано. Просто стояло на пороге, у двери, как ставят то, что принесли из дома. Коробка из светлого дерева, без клейма, без накладной, без описи. И — это Бель заметила первым — тёплая.Не тёплой была погода: октябрь остывал. Коробка была тёплая сама — как грели чистые листы, как грели тетради, как грело всё, что держали. Что-то внутри коробки держало.Бель открыла её на стойке — не унося вглубь: если пришло без описи, пусть видят все, кому положено видеть.В коробке лежали приборы.Их было пятьдесят — она пересчитала дважды, и оба раза выходило пятьдесят: ровно по числу... Бель не сразу поняла, по чему ровно. Потом поняла, и от понимания у неё похолодели руки, которые за год отвыкли холодеть: пятьдесят — это было число не людей. Пятьдесят — это было число держателей города по списку учительницы, дополненному за год: все, кто вписан в новый журнал Ксантии, — от стены приёмного до последнего узла сети. Синдикат знал список. Синдикат счёл город — и послал приборов ровно по числу.Приборы лежали в стружке, рядами, и каждый был упакован в ткань — не в картон: в ткань, мягкую, серую, тёплую на ощупь, как фланель. Бель развернула одну — и в ткани лежала вещь.Вещь была похожа на подушку, украденную до размеров ладони: мягкая, набитая, с закруглёнными краями, обшитая плотной серой материей. На материи не было клейма. Была — вышивка. Ручная, ровная, с тем нажимом, который Бель узнала бы из тысячи: ровным нажимом.Вышито было одно слово: «Отдыхай».И — под ним, мелко, у шва, как пишут то, что читают не глаза: «Сводка сна».Сводку сна Синдикат объяснил через неделю — на собрании, которое город провёл сам.Собрание шло не в зале ожидания забытого вокзала: тот снесли ещё весной, по решению города — залу, который держал переговоры, не полагалось стоять вечностью. Собрание шло во дворе школы, под тополем с мёртвой половиной, и тополь стоял над собранием как не дерево: старейшина. Мёртвая его половина за год не ожила — и не осыпалась: она держалась. Держалась так, как держат всё, что не вписано: до срока.Говорил человек Синдиката — не Дарас, не Покупатель: новый. В пальто, которое было выношено — с заломами, с потёртостями на локтях, — и это было рассчитано: Синдикат выучил урок третьей книги. Пальто без пятна больше не приходило в этот город. Теперь приходили в пальто, которое помнилось.— Мы не приносим опись, — сказал человек. — Мы не приносим тариф. Мы приносим сон.Он поднял прибор — серый, мягкий, с вышитым словом.— Год назад вы взяли на себя то, что не брал на себя никто: вы держали город сами. Пять держателей. Тридцать рук. Девять детей. Год вы держали — и год вы не спали как люди. Спящий человек не держит. Удерживающий не спит. Мы слышали ваши ночи — через ноту, она слышна и за водоразделом, — и в ваших ночах мы услышали усталость. Усталость — это не вина. Усталость — это счёт, который надо оплатить сном. Мы дарим вам сную опись сна: прибор ляжет у изголовья и будет считать не вас — ваш отдых. Не контроль: сводка. Утром вы прочитаете, как вы спали, — и будете знать, выспались ли, — как знаете теперь, сыт ли.

Мы дарим это городу, который научил нас, что учёт может быть не описью, а заботой.Говорил он хорошо. В этом городе хорошо говорить умели немногие — Дарас умел, Боус умел, — и человек Синдиката говорил на уровне этих двоих: ровно, без вдохов в паузах, в нажиме — тёплым.И город слушал — и город соглашался.Соглашался по-разному, но соглашался почти все, и вот почему: город устал. Это не было ложью Синдиката — это было правдой, которую Синдикат подобрал с земли, как подбирают монету, лежащую на виду. Год держания стоил годами сна. Гремори возила молчание до изнеможения. Вера Павловна клала ладони на стены по три ночи из трёх. Канов свёл часы — и не знал, что делать с тем, что часы больше ничего не требуют. И даже сеть чистых листов — сорок один лист, выросшая с девяти, — работала на держателях: нота не спит, а тот, через кого нота идёт, спать не может.— Сну нужна опись тоже, — сказал человек Синдиката. — Всё живое имеет счёт. Почему сон — нет?И город, которому год не спал, произнёс согласие — не подписью, не пакетом: просто взял приборы в руки. А взяв в руки, согрел — а согрев, принял.Приборы разошлись по городу за вечер.Илья отказался.Он отказался не отцу — отцу он сказал: «Возьми. Пусть считает твой сон, тебе он нужен». Поладин возражал — недолго: он посмотрел на прибор, потрогал ткань, и ткань была тёплая, и он устал, и усталость была старше гордости. Он взял.Илья отказался прибору — в лицо прибору, потому что приборы теперь слушали.— Меня не считать, — сказал он серому квадрату ткани. — Я — счёт.Прибор не ответил. Приборы не отвечали — в этом была их осторожность: Синдикат учился на неудаче третьей книги, где бланк писал сам себя. Этот прибор не писал ничего. Этот прибор ждал.Но Илья заметил — на второй вечер, когда клал прибор на тумбочку в родительской спальне, — одну вещь, которая его царапала.Ткань была тёплая.Не тёплая, как бывают вещи, взятые из тёплого места: тёплая, как бывают вещи, которые держат. Он положил прибор — и убрал руку, и тепло от вещи шло в ладонь ещё секунду после разрыва контакта. Так не греют приборы. Так греют те, кто ждёт.Он сказал Дарасу — вечером, у камня на набережной, где сводчик сидел часами, хотя свод уже не сдавал: сидел по привычке к слушанию.— Пятьдесят приборов, — сказал Илья. — По числу держателей из журнала. Они знают список.— Они всегда знали список, — сказал Дарас. — Список — не секрет. Секрет — что вписывать.— Тогда что они вписывают?— Вот это, — сказал Дарас, — и есть вопрос, на который у нас тринадцать недель, чтобы ответить.Илья посмотрел на него — тринадцатилетний, выше отца на полголовы уже не был, но голос шёл уже ниже — и сказал то, что не говорил никому за весь тихий год:— Я боюсь.Дарас не вздрогнул. Дарас не вздрогнул потому, что ждал этого слова тринадцать месяцев.— Хорошо, — сказал он. — Страх — это счёт. Считай его.Ночь первая.Город лёг спать с приборами у изголовий — пятьдесят приборов на пятьдесят держателей и сверх них ещё четыре сотни, завезённые наутро: Синдикат привёз больше, чем обещал, и раздал без счёта, из дверей домов, как раздают не посылки — подарки.Приборы не жужжали. Не светились. Не требовали заряда. Они просто лежали у подушек — и слушали.А в полдвенадцатого ночи первая сводка записала первое вычищенное.Вычищенным было мелкое: привычка. Женщина с Заречной, дочь старой швеи, заснула с прибором у головы — и проснулась утром, и встала, и пошла ставить чайник, и у двери остановилась — потому что обычно выходя из спальни, она здоровалась с покойной матерью, портретом, двумя словами, каждое утро, двенадцать лет.Она не поздоровалась.Не потому, что забыла мать. Она вспомнила мать — портрет, лицо, двенадцать лет. Она забыла действие: руку, которая тянется к дверному косяку, слова, которые ложатся первыми, привычка, которая есть не память, а тело. Тело не тянулось. Тело встало и шло мимо — как идут мимо того, что не вписано в утро.Она стояла у двери три секунды — и эти три секунды были её девятой секундой, первой за год, которая не сходилась. Потом пожала плечами и пошла ставить чайник.Прибор на тумбочке записал разницу — тихо, без жужжания, в ту строку, которой нет ни на одном из его внешних швов.А над городом, над пятьюстами изголовий, над бухтой, где вода была уже холодна и чиста, шла нота. Нота шла второй — и была слабее на один полутон, чем была в сентябре.На полутон,

равный одной привычке.Илья проснулся в эту ночь — сам, без будильника, в три ноль-ноль — и слушал город, как слушал всегда: не ушами. Он услышал полутон — и понял то, что не смогли понять взрослые, соглашавшиеся на сводку, потому что взрослые искали обман в больших вещах: в тарифах, в реестрах, в подписях.Обман был не в большом. Обман был в малом.Синдикат не вычищал города. Синдикат вычищал уют — по одному штриху: по здорованию, по привычке, по руке к дверному косяку. И город, который полюбил свой уют и взял его в подарок, не заметит исчезновения штрихов — как не замечают исчезновения штрихов на гравюре, пока не положишь рядом оригинал.Оригинал был один. Он лежал в сети — сорок один чистый лист, у сорока одного ребёнка, из которых тридцать девять спали с приборами у головы.Два — Илья и Лена — не спали.Илья сидел в тёмной комнате, положив руки на колени, и считал полутон. Потом достал чистый лист — свой, из папки, — положил на колени и положил на него ладонь.Лист был тёплый.— Пока, — сказал он городу в темноте, вполголоса, как говорят с теми, кто спит. — Пока ты ещё помнишь, как здороваться. Я запишу всё. До последнего штриха.И город — тот его слой, который ещё дышал, — ответил тихим сдвигом ноты: на полутон вверх.Вверх — от прибора.«Есть два входа для сновидений: одни — из рога, другие — из слоновой кости».— Гомер, «Одиссея», XIX

Пропавших не было.Это было первое и самое страшное: никто не исчез. Никто не ушёл, не уехал, не умер. Все пятьсот спали в своих кроватях, вставали по утрам, шли на работу, пекли хлеб, принимали посылки. Город был полон людей — и город был пуст.Пустели не люди. Пустели штрихи.Канов заметил первым — по роду службы.Он вёл сетку двадцать два года и вёл её теперь по-новому: не по девятке — по полутонам. Сводка сна не давала ему показаний — приборы не подключались к сетке, Синдикат был осторожен, — но Канову не нужны были показания. Ему нужны были рывки. Двадцать два года город шёл по времени рывками, и каждый рывок имел свою причину: стояк, канал, звон стены, дыхание дома. Теперь рывки шли, но причины за ними высыхали — одна за одной, как сохнут ручьи в октябре.В среду утром он записал в сетке: «Рывок в 4:12. Причина: не опознана. Похожа на отсутствие».В четверг: «Рывок в 4:12. Причина: то же».В пятницу он перестал писать «причина» и завёл новую графу — не в сетке, в гроссбухе, чистом, купленном после финала: в гроссбухе, где раньше писал Боус и куда Канов не имел права. Он завёл графу и назвал её не «причины» — назвал «то, чего больше нет». И начал вписывать.Вписал за первую неделю двадцать три строки. Вот они, двадцать три — Канов записывал их честно, как умел только он:«Здорование у приёмного — двое служащих перестали».«Стук Милы по столу три раза перед счётом — нет».«Присвистывание водителя третьего маршрута на повороте — нет».«Хозяйка углового дома говорит с геранью каждое утро — нет».И так далее. Ни одной большой вещи. Все двадцать три — мелкие, домашние, тёплые: то, из чего город состоял, когда не думал, из чего состоит.Канов сидел над гроссбухом вечером в пятницу и понимал то, что понимает приборист, у которого на исправном приборе умер сигнал: сбой не в приборе. Сбой в том, что прибор перестал слушать.А прибор — город — слушал теперь другое. Приборы у изголовий слушали сон, и сон слушал приборы, и между ними, ночью, шла работа, которой не было ни в одной описи: вычистка. Сводка сна не забирала сны — она забирала привычки: мелкий аппарат, на котором держалось тело человека, пока голова спит. К четвергу аппарат вычистки добрался до вещей покрупнее — до того, что Канов вписал в новую графу, — и к пятнице первый держатель лёг в пустоту.Первой открыточной жертвой была учительница.Не так — учительница не была жертвой: она была первым пропавшим, и пропажа её была не телесной. Она пришла в понедельник в школу — вовремя, в халате, с журналом, — и всё при ней было на месте, кроме одного.Она не узнала журнал.Журнал лежал на её столе — тот, в котором за год она завела список города: девять строк по местам держателей, пустые графы под каждой. Журнал, в котором против «Поладин И.» стояло «Илья. Держит и ведёт».Она открыла его — и посмотрела на записи как на чужие.Не как на чужие почерком — почерк был её, она узнала свой наклон, свой

нажим. Она не узнала содержания: того решения, той весны, той секунды, когда она стёрла «вносит слуховое отклонение» и вписала имя. Всё это было вычищено. Сводка сна, которая шла по всему городу, дошла и до её сна — и вычистила не память о ребёнке, а память о том моменте, когда она решила.Решения вычищаются первыми. Тела живут дальше.Она отнесла журнал в кабинет обеспечения — для утилизации, сказала, «заведу новый, этот вёл кто-то до меня, записи не по форме». И если бы не Илья.Илья пришёл в школу в тот же понедельник — и видел её в коридоре с журналом под мышкой. Он не побежал. Тринадцать лет научили его не бегать к тому, что может упасть. Он подошёл шагом и сказал:— Вы вписали меня. В третьем абзаце оборота. «Слышу. Отвечаю. Третья нота держится».Учительница остановилась. Посмотрела на мальчика — как смотрят на незнакомого ученика, который говорит загадками. И — это Илья увидел и запомнил на всю жизнь — в глазах её было пусто не там, где пусто у сонных: у сонных пусто всё, а у неё было пусто одно место. Одно. Точно вычищенное — вычищенное так же, как вычищают пятно с ткани: тщательно, по контуру, чтобы не осталось кольца.— Что за оборот? — спросила она.— Ваш оборот. Вы его носите под халатом. У сердца.Она машинально тронула грудь — где под халатом, где под рубашкой, где на коже ничего не было уже четыре дня: бумага кончилась. Бумага не пропала — бумага была дома, в столе. Но рука её пошла к сердцу по привычке, и привычки не было, и рука встала на полдороге — и упала.По лицу её прошло то, что Канов записал бы в новую графу, если бы видел:«Память о жесте. Вычищено».— Я не помню, — сказала учительница. Голос её был ровный — ровнее, чем надо, ровный, как бывает у человека, внутри которого на месте голоса идёт нажим. — Я не помню этого оборота. Но вы помните. Значит, он был.— Он был, — сказал Илья.— Тогда скажите мне, — она говорила медленно, подбирая не слова: вычищенное место, на котором слова должны были стоять, — что я написала. Дословно. Я хочу знать, что я была.Зинаида Павловна получила открытку в четверг.Открытка была отправлена в октябре — за десять дней до того, — и адресат был правильный: женщина с улицы Садовой, покупавшая открытки пятнадцать лет, всегда бравшая видовые, бухту и мост. Открытка вернулась на киоск с почтовой пометой: «Адресат не отвечает».Зинаида Павловна развернула её — и прочитала адрес ещё раз. Правильный. Дом, квартира, этаж — всё было то. Пятнадцать лет одно и то же лицо брало здесь открытки, и пятнадцать лет адрес был тем же.Она отнесла открытку по адресу сама — старая, с сумкой, через мост. Постучала. Дверь открыла женщина — та самая, пятнадцать лет покупавшая открытки, — и посмотрела на Зинаиду Павловну вежливо и пусто: как смотрят на продавца, которого не помнят, и продукт, который не нужен.— Извините, — сказала женщина. — Вы кто?— Я киоск. Открытки. Вы берёте их пятнадцать лет.— Открытки? — женщина посмотрела на открытку в руках старухи — видовая, бухта и мост, — и в глазах её не было ничего. Ни узнавания, ни антипатии, ни скуки: ничего. Пустое место ровно там, где жило пятнадцать лет привычки. — Нет. Я не покупаю открытки. Не знаю зачем. Может, раньше. Я не помню, что я делала раньше.Зинаида Павловна стояла на лестнице — и старуха в ней считала. Она считала всю жизнь, дежурный по памяти, — и счёт теперь говорил то, что говорил счёт Канова, каждый своим прибором:Первый пропавший штрих. Первый не-узнавший. Первый нераскрытый конверт.Она спустилась с лестницы, вышла к мосту — и на середине моста, где бухта лежала открытой серой водой, она сделала то, чего не делала пятьдесят лет: положила открытку на перила. Видовую. Бухту и мост.Пусть город посмотрит сам, чего он не помнит.Вечером в четверг Покупатель не пришёл на ужин.Он жил теперь один — в комнате у пекарни, которую пекарь отдал ему весной, после финала: человек, ждавший девяносто лет, заслужил комнату и стол. Работал он у почтальона — носил то, что не вписывается, и носил хорошо: у свидетельской походки для ношения была готовая посадка.Он не пришёл на ужин — и пекарь постучал вечером. Дверь была не заперта.Покупатель сидел на кровати — посреди комнаты, при свете дня потухшем, — и держал в руках открытку. Ту самую, пустую, тёплую, взятую у киоска год назад. Она лежала у него на столе год — он ни разу не отправил её: некому было.

Теперь он смотрел на неё — и открытка была холодная.— Не помню, — сказал он пекарю, не поднимая головы. — Не помню, зачем я её взял.— Вы взяли её у киоска. Вам сказали: с тебя — понеси.— Понеси, — повторил Покупатель. И это слово он узнал: оно дрогнуло где-то глубоко, там, где девяносто лет ожидания сложились в одно движение души. Но дрогнуло — и стихло. Пустота в нём была не вычищенная, как у учительницы: она была природная. Свидетель жил ожиданием — ожидание кончилось в апреле, когда город ответил на зов, — и всё, что держало его девяносто лет, кончилось вместе с ним. Сводка сна не потратила на него ни одного прибора. Ей не пришлось.Пекарь сел рядом. Он не знал, что сказать, — и сделал то, что делал всегда, когда не знал: принёс хлеба. Тёплого, из вечернего чана, с хрустящим верхом.Покупатель взял ломоть — и не съел. Держал в руках, тёплый ломоть в холодных руках, и смотрел на открытку.— Я ждал девяносто лет, — сказал он. — Я помню ожидание. Я помню его длину, вес, вкус — ожидание я помню целиком. А чего ждал — не помню. Пусто. Как будто ждал чего-то, что стояло у меня перед глазами и я не мог назвать, а когда назвалось — ушло, и ушло место, где стояло.Пекарь молчал.— Кем я был? — спросил Покупатель. — Скажите. Вы знаете. Мне говорят люди, что я был кем-то. Скажите мне, кем.— Вы были Свидетелем, — сказал пекарь тихо. — Вы ждали, пока город дорастёт до имени. Дождались. Город сказал своё имя — вы слышали его первым.— Имя, — повторил Покупатель. И в пустоте его, на дне её, что-то шевельнулось — не память: эхо памяти, отражённое от стен чужого счёта. — Ксантия. Я помню, как это слово звучало в зале. Я помню, что плакал. Я не помню почему.И он разжал руки — и ломоть хлеба упал на пол, тёплый, целый, никем не надкушенный.Так погибли держатели в ту осень: не в боях, не в муке — в брошенном хлебе и не заданном вопросе. Покупатель был первым, кто забыл сам себя, — и Синдикат не убил его. Синдикату не нужно было. Свидетель, дождавшийся ответа, умер в мае — его тело ходило ещё полгода.В ту ночь приборы не записали в его комнате ничего.Там было нечего записывать.Илья узнал об этом утром — и узнал не от пекаря: от ноты.Нота города шла в ту ночь на полтора полутона ниже — два штриха за две ночи: журнал учительницы и Покупатель, — и Илья проснулся на второй, в три ноль-ноль, зная не факт, а форму: кто-то стал пустее, и пустота эта была не той, что растёт у всех, а той, что вычищается.Он разбудил Лену — через лист, без телефона: положил на свой лист ладонь и надавил три-один. Лена отозвалась через минуту — её лист грелся у неё под подушкой, прибор рядом спал и не мог добраться до ноты, потому что нота не спит.— Он первый, — сказала Лена в темноте, когда они сидели у Ильи на полу, с листами на коленях. — Первым забыл себя. Значит, дальше — все.— Не все, — сказал Илья. — Сеть не спит. Держатели, у которых счёт в руках, — не все вычистятся: счёт держит. Но те, у кого держание было в привычке, — учительница, Зинаида Павловна, половина города... — он замолчал и сказал то, что боялся сказать неделю: — Нас сорок один. Их пятьсот. Мы не сможем держать память за всех. — Не надо за всех, — сказала Лена.Илья посмотрел на неё.— Надо за штрихи, — сказала она. — Память — большая, её не унести. А штрих — маленький. Здорование. Свист на повороте. Три стука по столу. Мы не сможем помнить людей. Мы сможем помнить, как они держались, — и этого хватит, чтобы они вспомнили, кем были. Папа говорит: человека делают привычки, а не биография. Биографию вычистили — привычки спрятаны в руках.Илья молчал девять секунд — и на девятой понял, что перед ним план.— Штрихи, — сказал он. — Мы собираем штрихи. У каждого из нас — свой участок города. Свои люди. Мы смотрим, как они держались, — и вписываем это в чистые листы. Не имена. Не даты. Штрихи. Рука к косяку. Свист. Три стука. И когда прибор вычистит штрих — лист останется. Лист можно вернуть человеку — показать его собственной руке, и рука вспомнит.— Это будет долго, — сказала Лена.— У нас тринадцать недель, — сказал Илья. — Дарас считает так же.— А после тринадцати?— После тринадцати, — сказал Илья, — будет то, о чём я пока не говорю. Сначала штрихи.Он не сказал ей, что после тринадцати. Он и сам не знал — но у него в голове, с той ночи, когда он сказал Дарасу «я боюсь», росла мысль, которой он не делился ни с кем, потому что она была не мысль:

она была расчётом. Тринадцать недель — срок, который Дарас назначил себе на ответ. Но у тринадцати была и вторая сторона: тринадцать недель — это девяносто один день.Девять по девять.И если Синдикат вычищал город по штриху за ночь, а ночь — это девять часов тьмы, то к концу тринадцатой недели вычищено будет ровно столько, сколько нужно, чтобы город перестал отвечать на собственное имя.И тогда вопрос будет не «кто победит».Вопрос будет: «успеет ли город вспомнить себя быстрее, чем его заберут».Илья положил лист на колени — и начал вписывать первый штрих. Свист водителя третьего маршрута на повороте у моста: три ноты вверх, короткая, как оклик, — так, из-за поворота, свистел не сигнал: приветствие.Лист грелся.Город спал. Приборы слушали сон. Сорок один ребёнок не спал — и вписывал.А над бухтой шла нота — на полтора полутона ниже октябрьской — и в её тишине, если слушать нажимом, стояло уже не ожидание и не имя.Стоял отсчёт.«Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не вспомнят».— Екклесиаст, 1:11

Швея проснулась пятью вдохами весной — и потому знала о сводке сна то, чего не знал никто в городе.Она знала, каково это — просыпаться по счёту.Пять вдохов она считала теперь каждое утро: не потому, что боялась потерять, — потому что счёт был её нотой. Год назад пробел шириною в выдох держал её в «Спокойствии»; она удержала пробел паузой — и пауза стала её. Теперь она просыпалась так: вдох, вдох, вдох, вдох, вдох — и на пятом поднималась. Если вдохов было пять — она была она. Если четыре — значит, ночью её пробовали.Её звали Анфиса. Она жила в палате четвёртой — потом, когда приёмное отпустило держателей, сняла комнату у моста, с окном на воду, — и держала то, что было в ней с «Спокойствия»: не память, не привычку. Порог. Тонкую, натренированную четырьмя годами, способность знать: там, где должны быть слова, может стоять их отсутствие — и отсутствие тоже можно держать, как держат нить, не натягивая.Она приняла прибор первым — в первый же день раздачи, сама, у конторы удобств: не потому, что доверяла Синдикату. Потому что хотела его изучить. Держатель тёмного прихода — так она назвала бы себя, если бы ей дали слово, а она слов не просила: она держала молчание и потому ходила в тени даже собственных держателей. Пятеро знали её по палате. Илья знал её по ноте. Город знал её как «швею, которая проснулась» — и всё.Прибор она развернула вечером в спальне у моста — и сделала то, чего не делал никто в городе, от пятидесяти держателей до последней раздачи из дверей домов.Она не положила прибор у изголовья.Она села с ним за стол — под лампу, при свете, — положила перед собой, рядом нитку, иглу и кусок той самой серой ткани, в которую прибор был обшит, и стала его штопать.Не чинить — штопать. Прибор не был порван. Она штопала его по шву — стежок за стежком, по кругу, — и делала это не из суеверия. Она делала это потому, что четыре года в «Спокойствии» учили её одному: чтобы узнать вещь, надо пройти её руками по всей длине. Шов прибору было не по чему изучить — шов был её единственный доступ. И на третьем круге пальцы её нашли то, чего не нашёл бы ни один глаз:Шов не кончался.Было видно: серая ткань обнимает прибор по кругу — и шов идёт, и идёт, и у него нет ни начала, ни конца, ни узелка, ни перехода. Так не шьют. Так не штопают. Так бывает только у ткани, которую шили не снаружи.Анфиса отложила иглу. Развернула стежок — осторожно, кончиком, как разворачивают не нитку: печать.Под тканью, на самом приборе, у бокового шва, мелко, вдавленное, как клеймо с обратной стороны, стояли цифры:«03-19-09».Девятнадцатое марта, ноль девять. Дата — за семь месяцев до раздачи. Дата весны — той, когда город сказал имя.И следом, под датой, ещё две строки, выдавленные не по прибору — по ткани, изнутри, как будто ткань их держала до того, как сшили:«Порог: держится. Проверять в###».Анфиса сидела над прибором до утра — не включая свет, при свете луны, — и за ночь поняла то, что не поняла за месяц вся Контора, когда была Конторой.Прибор не следил за городом.Прибор ждал. Каждый его прибор ждал своего человека — ждал с даты весны, семь месяцев, в стружке, в серой ткани, в коробках без описи. И вписал её, Анфису, не в ночь раздачи — весной. В весну, когда ещё ничего не решалось, когда город только сказал имя, — Синдикат уже знал: у города есть тёмный приход,

и тёмный приход держит порог.Он знал её. Он знал её до того, как она знала себя.Утром она пошла к Дарасу.Шла не по улице — по низу, у воды, где путь лежит длиннее, а слышат меньше. Дарас сидел на своём камне у бухты — сводчик без свода, человек, через которого писали год, — и смотрел на воду с тем выражением, с каким смотрят на то, что больше не отвечает.— Через меня писали, — сказал он вместо приветствия. Анфиса села на камень рядом — молча, так садятся те, кто молчание носит. — Год назад — через меня писал свод. Сейчас — не пишут. И я понял почему: писать через меня им больше не надо. Им надо, чтобы я молчал. Пустой канал не пишет — пустой канал ждёт заполнения.— Вы не пустой, — сказала Анфиса. Голос у неё был ровный, тихий, поставленный четырьмя годами молчания. — Вы канал с остатком. Остаток — это то, что они не вычистят: потому что не знают, что это.— Что во мне остаток?— Несходимость. — Она достала иглу — держала её в пальцах, как держат не инструмент: счёт. — Вы писали свод, который не сошёлся на четвёртом. Вы говорили городу имя, на которое не рассчитывал никто. Всё, что вы делали два года, не сходилось — и это в вас осталось. Синдикат вычищает сходящееся: привычки сходятся, действия сходятся, по ним прибор идёт, как по рельсам. Несходимое прибор не берёт. Вы — несходимое.Дарас повернулся к ней — впервые за месяц посмотрев на человека так, как смотрят не на слушателя: на показание.— Почему вы это знаете?— Потому что я — тоже, — сказала Анфиса. — У меня пробел. Приборам нечего с него взять: там пусто, а пустоту не вычищают дважды. Они вписали меня весной. — Она протянула ему иглу. — Прочитайте.Дарас взял иглу — и не прочёл: он её слушал. Металл отдал ему то, что отдала Анфиса дата: семь месяцев ожидания, комнату в стружке, счёт, который вели до раздачи. Он держал иглу долго — и в конце концов положил её на камень между ними, остриём от себя: так кладут не орудие — улику.— Тёмный приход, — сказал он. — Так они вас зовут.— Так они меня учли.— Значит, у каждого из нас, — Дарас смотрел на воду, и вода отражала в нём лицо человека, который впервые за месяц считал себя нужным, — есть строка. В их ведомости. Которую они вели до нас.— У каждого, — сказала Анфиса. — И у города есть строка. Самая главная. Я её не видела. Но шов не кончается — а это значит, что ткань шили не снаружи. Значит, приборы шили изнутри. Значит, где-то есть мастерская — и в мастерской есть книга, в которой город вписан не как пятеро, не как пятьдесят и не как пятьсот.Город вписан как сон.— Сводку сна нельзя вычистить изнутри города, — сказал Дарас медленно, подбирая не слова — механику. — Она пишет не то, что видно. Она пишет пустоты. Пустоты нельзя высмотреть с улицы — в них можно только лечь. Значит, тот, кто пишет сводку сна, спит с городом. Или спит за город.— Или спит городом, — сказала Анфиса.Это было то, о чём Дарас не сказал бы вслух сам: город спал — и кто-то спал его сном. Не наблюдал: спал. И в чужом сне вычищал штрихи, как вычищают комнату, где тебе жить.— Где мастерская? — спросил он.— Я не знаю, — сказала Анфиса. — Но я знаю, кто знал. Боус. Он держал шестое вместилище — память — и он держал дату. Дата «03-19-09» — его дата. Весна, когда сходился свод. Он знал тогда всё — и молчал, чтобы город прожил год.Дарас встал с камня — медленно, с переносом веса, как встают люди, у которых появился план.— Тогда идём к нему. Идём к нему со строкой, которую он не вписывал, — и просим у него не память.— Что просим?— Нажим, — сказал Дарас. — У меня осталась проводимость. Канал пуст — но канал можно заполнить в обратную сторону. Они пишут в пустоты — я буду писать в их пустоты. Ложный счёт. Ночь за ночью: несходимость, вписанная в их сводку сна. Аппарат, который не сходится, перепроверяет. Аппарат, который перепроверяет, — не вычищает. Мы не сможем остановить вычистку. Мы сможем её задержать — на тринадцать недель. Больше у нас нет.— Тринадцать недель на что? — спросила Анфиса.— На сеть, — сказал Дарас. — У Ильи сорок один лист и план штрихов. Если мы дадим ему тринадцать недель — город запомнит себя заново. Не целиком: по штрихам. Но штрихи — это тело. А тело, — он посмотрел на её руки, на пальцы, которые всю жизнь держали иглу, — труднее вписать, чем голову.К Боусу они пришли в полдень — и застали его за странной работой.Боус сидел во дворе своего дома, за столом, и писал. Не в

гроссбух — гроссбух стоял на полке, закрытый, конченный. Он писал на отдельных листах — и листы были не чистые: старые, с оборотами, с графиками, бумага, которую не выбрасывают двадцать лет. Он писал и на каждом листе оставлял снизу пустую строку — рамку, ждущую, — и откладывал лист в стопку.На столе лежала уже стопка в ладонь высотой.— Пишу завещание, — сказал Боус без приветствия, не поднимая головы. — Не бумаги — памяти. По листу на день: что город помнил, когда я это видел. У меня не так много дней, как я думал, — он поднял на них глаза, и глаза были ясные, яснее, чем год назад, — и я хочу, чтобы каждый день ушёл в стопку, а не в стружку.Дарас положил перед ним иглу.Боус взял её — по-своему: не к свету, к уху. Он слушал металл так, как слушал свод, — и лицо его шло по мере слушания от покоя к счёту.— Тёмный приход, — сказал он наконец. — Учтён в марте. Проверка — в третьем квартале. — Он положил иглу на стол. — Я знал, что они учли. Я не знал, что учли её так рано.— Вы знали дату, — сказала Анфиса. — Что было в марте?— Тогда Синдикат перестал быть покупателем, — сказал Боус. — Я слушал их ноту через воду весь март. Она менялась: из переговорной в ткацкую. Покупатель держит — ткачиха ткёт. Они решили ткать город. И надо было вписать того, кто город свяжет, — связующее держат отдельно. Отдельно от пятерых, отдельно от сети. Так они вписали вас, швея, — тёмным приходом: держателем, о котором не знают держатели. Это не случайность. Это ремесло. Они сделали вас ниткой до того, как вы узнали, что вы нить.Анфиса молчала — девять секунд, свои, без счёта, — и на девятой сказала то, что держала с утра:— Тогда не спрашивайте меня, чей я держатель. Спрашивайте, что в меня вписали.— Это одно и то же, — сказал Боус.— Нет, — сказала она. — Это разные вещи, и я вам скажу почему. Четыре года «Спокойствия» я держала пробел — и пробел был мой. Теперь они вписали меня как нить. Если я — нить, то между кем я натянута? Нить не висит в воздухе. Нить соединяет. Я — между городом и мастерской. И это значит, что через меня идёт всё: и от города — к ним, и от них — к городу. Прибор слушал мой сон семь месяцев. Но и я могу слушать его сон. Порог — это дверь. Дверь держат с обеих сторон.Дарас медленно повернулся к ней.— Вы хотите сказать, что можете слышать их.— Я могу спать их сном, — сказала Анфиса. — Не хочу — но могу. Прибор у меня в комнате, шов не кончается: нить заведена. Ночью, в пустоте, я пойду по нити в ту сторону. Не далеко: до первого узла. Мне нужно одно — где шьют.В комнате стало тихо. Дарас смотрел на неё, Боус смотрел на неё — и оба понимали одно и то же: тёмный приход, вписанный Синдикатом как инструмент, собирается стать инструментом против них. Нить не выбирает, чей она узел, — но держатель выбирает, по какую сторону держать порог.— Это опаснее всего, что мы делали, — сказал Боус. — Если они почувствуют, что нить дёргается от города, а не к городу, вас вычистят первой. Прибор у вашей головы — и прибор, учёт которого вы уже нарушили.— Значит, идти надо не дёргая, — сказала Анфиса. — Порог — это искусство. Четыре года учила. Иду сегодня же. У вас, — она встала, — тринадцать недель. У меня — первая ночь.Ночью Дарас начал писать.Он лёг в своей квартире — без прибора, приборы к сводчикам не завозили: Синдикат знал, что канал пуст и писать по нему нечего, — и лёг не спать. Он лежал на спине, положив руки на грудь, и входил в пустоту так, как входит не в сон: в работу.Пустота вокруг канала была как подвал: холодная, широкая, с эхом. И в эхе слышалась работа — сводка сна шла по городу, нить за нитью, и каждая нить светилась в темноте тонким ровным светом сходящегося счёта. Дарас шёл по своему каналу, как шли по нему раньше чужие строки, — и на середине пути, там, где канал был шире всего, начал писать.Он писал не словами. Он писал счётом.В сводку сна, в её ровный свет, в её сходящиеся строки он вписал — через себя, как вписывали когда-то чужой свод через него, — несходимость. Маленькую. Точную. Строку, в которой число штрихов города не билось с числом вычищенных: разница уходила не в ноль — в остаток. А остаток — то, что в этом городе не спишется никогда: он был старше сводки, старше Синдиката, старше всех описей, которые видели эти стены.«Вычищено: двадцать три. Вписано: двадцать три. Разница: тринадцать».Тринадцать — там, где не было вычтено ничего.Сводка дрогнула.Не

в одном городе — в одной нити, там, где шла по Ксантии, — и дрожь её была не поломкой: пересчётом. Аппарат, который не сходится, перепроверяет — так учил Дарас свою Контору двадцать лет, и приборы его учили, и он теперь учил их: нить за нитью он вписывал в их сводку остатки, которых не было, расхождения, которых не могло быть, — и сводка спотыкалась, и пересчитывала, и тратила на пересчёт время, и время, потраченное на пересчёт, не шло на вычистку.К утру он вписал одиннадцать несходимостей. Нить дрожала в одиннадцати местах — и над городом, над пятьюстами изголовий, вычистка за эту ночь пошла вдвое медленнее, чем шла неделю.А Анфиса в это время шла по нити.Она лежала в своей комнате у моста, с прибором у изголовья — впервые положив его туда, — и не спала: держала порог. Нить шла от её сердца вниз, в темноту, и темнота была ткацкая: в ней слышался стук. Не стук Милы по столу — стук челнока: ровный, веретённый, идущий без вдохов. Так стучит не человек. Так стучит машина, которая ткёт не ткань.Она шла по нити в ту сторону — медленно, не дёргая, как учил её порог, — и на первом узле остановилась.Узел был из дат. «03-19-09» сидел в нити, как сидит бусина, — и за ним шло дальше: дат было много, одна за одной, и все — весна, весна, весна, март, апрель, май: все даты той весны, когда город говорил имя. Синдикат ткал город с весны — с той самой ночи, когда на набережной никто не ответил на зов чужим голосом.И под узлами, на самой нити, мелко, как пишут то, что читают не глаза, шла строка — одна, длинная, от узла к узлу, от даты к дате:«Полный сон города: 9 недель запаса. Порожнее: 4. Вычистка без сопротивления: 2. Сопротивление (канал, несходимость): учтено. Пересчёт обходится дороже. Изменить способ: с полуночи».Анфиса прочла строку — и поняла, что ночь кончилась. Не её ночь — их.До полуночи оставалось шесть часов.Она сняла прибор с изголовья — отложила его в шкаф, вниз, к одежде, туда, где в этом городе хоронят живое, — и села у окна ждать рассвета: швея, проснувшаяся пятью вдохами, тёмный приход, нить, которая теперь знала о них больше, чем они о ней.А в мастерской, где стучал челнок, ровный счёт впервые за семь месяцев записал дрожь.Не в одной нити. Во всех.И рука, которая не была рукой, легла на челнок — и челнок замолчал.До полуночи.«Протягивает руку к прялке, и пальцы её берут веретено».— Притчи, 31:19

Способ поменялся в полуночь вторника — без объявления, как меняют не правила: рукава.До полуночи сводка сна работала по нитям: каждый спящий был нитью, и нить шла от изголовья к мастерской, и по нити вычищались штрихи — по одному, аккуратно, как выдёргивают волос из ткани. Нити можно было дёргать. Нити можно было спутать — Дарас спутал одиннадцать за ночь, и одиннадцать несходимостей заставили аппарат перепроверять, а время перепроверки — время, взятое у вычистки.С полуночи нитей больше не было.Вместо них встал фон.Ночью, над пятьюстами изголовий, над бухтой, над всем городом, встал полог — ровный, серый, без швов, сплошной, как небо перед снегом. Он не жужжал, не светился, не стучал: он просто лежал — и всё, что спало под ним, спало теперь общим сном. Не пятьсот снов: один. Один сон на город — и в этом сне вычистка шла не по нитям.Вычистка шла по домам.Первым домом был угловой на Садовой — тот, где хозяйка двенадцать лет разговаривала с геранью. Хозяйка уснула в одиннадцать сорок — и не проснулась хозяйкой углового дома. Она проснулась женщиной в угловом доме: жильём — да, стенами — да, но без двенадцати лет, без герани, без утреннего слова, которое было её нотой. К утру герань стояла на окне чужим для неё растением — и она вынесла её в ведро, потому что «растение занимало место».Вычистка шла по домам, потому что дома — это то, что держит штрихи вместе. Здорование, свист на повороте, три стука по столу — по одному такие штрихи память держит, как держит монеты: рассыпав. Собранные в дом — держатся гроздью: вычисти дом — и вычистишь всё сразу. Синдикат выучил это за одну ночь потерь: после одиннадцати несходимостей Дараса нить за нитью было дорого. Домами — дешевле.К утру вычистили три дома.К вечеру — девять.К полуночи среды, через сутки после смены способа, по городу шла работа, которой не видели с улицы: люди жили, ели, работали, здоровались с теми, кого не помнили, зачем здоровают, — и пустели

штрихами, как пустеет изба, из которой выносят по бревну в день.Канов записал в новой графе, к вечеру среды:«Дом 8 по Заречной: нота канала ровная. Пока».Последнюю строку он написал и зачеркнул. Зачеркнул — потому что нота канала была ровной не потому, что дом держали. Нота канала была ровной потому, что ночью дом 8 спал общим сном — и общий сон, доходя до короба номер три, вычистил бы и его: живая тяга, дышавшая в такт ребёнку тринадцать лет, не была вписана ни в одну опись — но и не была защищена ничем, кроме ноты.Марбас в ту же ночь почуял это в подвале — по рукам: щётка в его пальцах дрогнула, когда общий сон коснулся канала. Он спустился — по средам не было, было вторник, значит, пришёл не по среде: по зову, — и нашёл канал дышащим, но с задержкой. Вдох шёл — и висел. Вдох, который висит, — это не дыхание: это ожидание. Канал ждал — как ждали приборы, как ждала нить Анфисы.Он остался в подвале до утра — со щёткой в руках, держа канал вручную, как держат не инструмент: умирающего.Илья услышал стук в ту же ночь.Он не спал — тринадцатый год шёл так: приборы спали город, а сеть не спала, и Илья был узлом сети. Он лежал в темноте с листом на груди — и под листом, через лист, через пол, через фундамент, через землю, через всё, что между ним и землёй, шёл звук.Стук. Ровный. Веретённый — без вдохов, без пауз, без того, что отличает машину от сердца: у машины нет вдоха между ударами.Челнок.Но стук шёл не из мастерской к нему — стук шёл сквозь него: сеть из сорока одного листа стояла над городом, как стоял полог, — только полог накрывал сон, а сеть держала бодрствование, — и в сети, на нижнем крае, там, где нота уходила за водораздел, стук отпечатался. Илья сидел в темноте и считал стук — не по числам: по характеру. И по характеру стука узнавал то, что не вписано ни в одну сводку:Стук шёл оттуда, куда нота уходит за водораздел. Оттуда, где лежит соседний город.Мастерская была не в Ксантии.Синдикат ткал не здесь — Синдикат ткал из соседнего города, вполпути, через водораздел, и нота Ксантии доходила туда, как доходят все ноты, которые не спят: до края слышимости. И в соседнем городе, на нижнем крае слышимости, стояла мастерская с челноком — и челнок ткал Ксантию из её собственного сна.Илья встал — не включая свет — и разбудил Лену через лист.— Мастерская за водоразделом, — сказал он. — Стук идёт оттуда.— Как далеко? — спросила Лена, садясь, с листом уже на коленях.— По ноте — сутки пути. Сутки, если идти пешком. Полсуток — если ехать.— Ехать? — Лена посмотрела на него в темноте. — У нас нет машин. Машинами возят молчание — Гремори. А она сейчас...— Она — то, что нам надо, — сказал Илья. — Гремори возила адреса, когда адреса были. Возила молчание, когда стали молчание. Теперь возить надо не молчание: возить надо сеть. Если мастерская за водоразделом ткёт наш сон — значит, наш сон куда-то уходит. Значит, есть дорога, по которой сон идёт от нас к ним. По этой дороге можно пойти в обратную сторону. Не с тайной — с листами.— Ты хочешь ехать сам? — спросила Лена.— Я хочу ехать с сетью, — сказал Илья. — Сорок один лист. Тридцать девять лежат в домах, рядом с приборами. Два — при нас. Сеть нельзя рассыпать — но сеть можно растянуть: нить за нитью, по дороге, по городам, которые лежат между Ксантией и мастерской. Если сеть ляжет от набережной до мастерской — она будет не линией. Она будет нотой, протянутой через два города. И тогда мастерская, ткущая наш сон, будет ткать через нашу сеть — а наша сеть, ты же знаешь, не спит. Сеть вычистить нельзя: она живёт не памятью. Нотой.— Это на весь след, — сказала Лена. И не «ты уверен?» — спросила, а то, что спрашивают у того, кто уже решил.— На весь след, — сказал Илья.К Гремори он пришёл утром — в депо, где она мыла машину, ту самую, семь лет возившую адреса, потом молчание, теперь — ничего: город не помнил, зачем машине товар, и машина стояла всё чаще.Он не предлагал. Он положил на крыло машины лист — чистый, тёплый, из папки сети.Гремори взяла его — и держала, и лист грел её ладонь, и ладонь вспоминала то, что делала год назад на набережной: держала перо в пустой графе.— Куда? — спросила она.— За водораздел. Там мастерская. Там ткут наш сон.— Что повезу?— Сеть. — Илья снял с папки листы — все, кроме трёх, и разложил их на крыле: тридцать восемь тёплых прямоугольников, серых, чистых, без линовки. — По дороге, через города, надо оставить нить.

В каждом городе — узел: дом, где лягут листы. Листы соединятся нотой — и нота пойдёт от набережной до мастерской. Это будет не доставка. Это будет — первый в истории этого края — путь памяти, протянутый между городами, у которых нет имён.Гремори смотрела на листы — тридцать восемь чистых, тёплых, грели через металл крыла.— Один вопрос, — сказала она наконец. — Если дорога кончится — а дорога всегда кончается, — и листы останутся в чужих домах, в чужих городах, у чужих людей — они будут держать их сны?— Они будут держать их, как держали наши, — сказал Илья. — Бумага не выбирает. Бумага держит того, кто её держит.— Тогда, — сказала Гремори, и в голосе её было то, что в голосе не бывает: счёт весом в семь лет маршрутов, — повезу.Она собиралась два дня — и уехала на третий, в пятницу, на рассвете, с ящиком листов в кузове, где год возила молчание. Илье она оставила один лист — свой, из сети, тот, что лежал у него на груди по ночам. Он был её нитью: пока лист был в Ксантии, нота шла от неё к сети. Пока лист был в Ксантии, она не одна.А в Ксантии оставалось тринадцать недель минус две.В среду вечером пекарь нашёл на столе в комнате Покупателя вторую открытку.Тёплую.Он вошёл в комнату, где Покупатель больше не жил — Покупателя увели в приёмное в четверг прошлой недели: тело человека, забывшего себя, дышало, но человек ушёл, и город понёс его в приёмное, как носят не больного: покойника, у которого ещё дышит стена, — и на столе, рядом с холодной открыткой, той самой, которую он не отправил, лежала вторая. Пустая. Тёплая. Без марок, без адреса, без почерка: просто открытка — и тепло от неё шло, как шло тепло от всех вещей, которые держали.Пекарь взял её — и тепло пошло ему в ладонь, и в тепле, если держать ладонью долго, шло слово. Не написанное: сказанное — тем способом, которым город говорил в 55-й, когда отвечал на зов первым голосом.Слово было: «Жди».Пекарь положил открытку обратно. Сел на кровать, где сидел Покупатель в последний вечер, и долго сидел — и понял то, что понимает человек, у которого в руках открылась вещь, к которой он не был готов.Открытка была от Покупателя. От той его части, которую сводка сна не достала: от ожидания. Ожидание жило девяносто лет — и девяносто лет не спало, и вычистить то, что не спит, аппарат не мог. Свидетель вычистил из себя всё, кроме ожидания, — и ожидание, оставшись одно, сделало то, что делает ожидание, оставшись одно: оно написало. Не себе. Написало тому, кто остался.«Жди».Не просьба. Завещание.Пекарь отнёс открытку Бель — в контору удобств, где Бель держала стойку, как держали её год: пустым местом, которое ждало. Бель взяла открытку — и тепло шло в её ладонь, и слово «Жди» шло в тепле, — и она поняла то, что понял пекарь, и то, что не понял ещё никто:Ожидание Покупателя не умерло. Оно осталось в городе — в вещи, которая держит: в бумаге.И ожидание — это не бессмысленное терпение. Ожидание — это форма держания. Форма, у которой есть адрес: тот, кто ждёт, всегда ждёт не впустую. Он ждёт кого-то. Свидетель девяносто лет ждал того, кто дал городу имя.А теперь город ждал того, кто вернёт его.И открытка «Жди» — это была первая точка новой сети: не листов — ожиданий. Сети, в которую войдут все, кто держит, не помня зачем, — и в том числе, если она дойдёт туда, за водоразделом, — пятая книга.Пекарь не знал этих слов. Он знал, что открытка тёплая — и что это значит: кто-то ждёт. И он верил.К полуночи среды сводка сна подвела итог ночи — не ночи: суток.За сутки сменившегося способа вычистка по домам сделала то, чего нить за нитью не делала месяц: двенадцать домов опустело штрихами, двенадцать хозяев проснулись людьми в своих домах и не в своих жизнях. Канов вписал в графу «то, чего больше нет» — двенадцать строк. Дарас вписал в сводку сна — девять несходимостей: аппаратная перепроверка съела половину ночи.Но счёт шёл не в пользу города.Дарас считал честно: при такой скорости — тринадцати недель не хватит. Не хватало и трёх. Вычистка шла по домам быстрее, чем сеть собирала штрихи, и к концу тринадцатой недели город был бы пуст: не вычищен — опустошён. А пустой город не сопротивлялся бы — и не нуждался в сопротивлении: пустому городу нечего держать.Анфиса сидела у окна своей комнаты у моста — с прибором в шкафу, с нитью на сердце, с порогом, который держала четыре года, — и считала: не вдохи — сроки.Дарасу оставалось вписать ещё сто сорок несходимостей.

Сети оставалось собрать штрихов на весь город. Сети Ильи оставалось дойти до мастерской.И всем вместе — оставалось тринадцать недель минус две.Ночь на четверг была первой ночью общего сна — и первой ночью, когда вычистка шла не по домам: по округе.Округа вычищается иначе, чем дома: дома — это штрихи, округа — это стены. Дом можно вычистить и оставить стоять: стены останутся, и в них можно вписать новых жильцов. Округа — это стены вместе с улицами, с пекарней, с киоском, с мостом. Вычистить округу — значит вычистить город из города: не людей — улицы, которые люди помнили.И сводка сна в ночь на четверг пошла по округе — и первая округа, которую она вычистила, была набережная.Набережная перестала быть набережной в полночь.К утру на набережную вышли люди — и увидели мост, бухту, воду, перила, камень Дараса, киоск Зинаиды Павловны, пекарню — и не узнали.Не страх — пустота: как смотрят на красивый пейзаж, который не твой. Мост стоял — и мост был «мост» — словом, не местом. Бухта лежала — и бухта была «вода», не бухта. Киоск стоял — и киоск был ларёк, не киоск.И на набережную вышла Зинаида Павловна — та, которая год держала паузу, которая раздавала открытки «с тебя — понеси», которая дежурная по памяти города, — и встала посреди своей набережной.И не узнала её.Она стояла посреди набережной сорок минут — сорок минут, не двигаясь, как стоят те, кто потерял не дом: город, — и потом сделала то, что сделала единственное, что могла.Она вернулась в киоск — и открыла его.Открыла — как открывают не торговлю: дверь. Стояла за прилавком с открытками, у витрины, у которой был свой счёт, — и ждала. Не покупателей: узнавания. Ждала, что кто-то войдёт — и скажет ей, что это за набережная, если она сама не помнит.Первым вошёл Илья — тринадцатилетний, с листом под мышкой, со счётом в голове.Он положил на прилавок лист.— Вы — дежурная по памяти, — сказал он. — Вы раздали городу открытки «с тебя — понеси». Ваша набережная — это та, где год назад город сказал имя. Здесь сходился свод на четвёртом. Здесь Покупатель снял пальто и ушёл человеком. Здесь — всё, что вы держали пятьдесят лет, — и это вы держали, не вы: город держал через вас.Зинаида Павловна слушала — и по мере слушания пустое место в ней оттаивало, как оттаивало у учительницы: не память — контур. Не вещь — след. — Спасибо, — сказала она. — Я запомню, что не помню.И положила открытку с моста — ту, что оставила на перилах неделю назад, — обратно в витрину.Пусть город смотрит, чего он не помнит.Пусть город вспоминает.«Друг наш уснул; но Я иду разбудить его».— Евангелие от Иоанна, 11:11

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.